

Автор: Вальтер Беньямин

Название: Берлинское детство на рубеже веков

1. Две загадки

В моей коллекции открыток было среди прочих несколько таких, подпись на которых врезалась в память ярче, чем картинка. Их украшала изящная, легко читаемая роспись: Элен Пуфаль. То было имя моей учительницы. П в его начале значила Пунктуальность, Пример, Прилежание; Ф – Фантазию и Философию; а что до Л на конце, то она отвечала за Лояльность, Логичность и Любознательность. Так выглядела бы эта подпись, если бы состояла только из согласных, словно записанная семитским алфавитом, являя собой в таком случае не только образец каллиграфического совершенства, но и корень всех добродетелей. Отроки и отроковицы из лучших домов западной буржуазии попадали в кружок госпожи Пуфаль. Но бывали исключения, так что и юная дворянка могла случайно затесаться в толпу простолюдинов. Её звали Луиза фон Ландау, и вскоре имя это очаровало меня. До сих пор для меня оно живо, но причина этому – не его звучность. Среди сверстников это имя было первым, в котором я явственно расслышал акцент Смерти. Случилось это уже после того, как я, переросший наш кружок, поступил в шестой класс. И всякий раз, когда я бывал в Лютцовуфере, я искал глазами её дом. Он располагался напротив небольшого сада, что нависал над самой водой. И с течением времени это место так тесно переплелось в моей голове с заветным именем, что я совсем привык считать клумбу, незыблемо сиявшую на той стороне берега, чем-то вроде кенотафа безвременно оборвавшейся жизни.

Госпожу Пуфаль сменил господин Кнох. Теперь я считался школяром. В основном происходящее в классах вызывало во мне отторжение, однако не столько неизбежной карой вспоминается мне господин Кнох, сколько неким провидцем, предсказавшим будущее, и для него это не такая уж плохая роль. Всё случилось на уроке пения. Мы проходили «Кавалерийский марш» из «Валленштейна»:

По коням, товарищ, в поля, на простор,

К свободе умчим все вместе!

Мужчина лишь так себе цену поймёт

И вес разужнает сердца.

Господин Кнох задал классу вопрос, как можно истолковать последнюю строку. Конечно, ни у кого не было идей. Но господин Кнох счёл, что так и должно быть, и объяснил: «Вы поймёте, когда подрастёте». В то время взрослая жизнь казалась мне такой же далёкой и недоступной, как сад на берегу, преграждаемый рекой, куда я ходил гулять, цепляясь за нянину руку. Много времени спустя, когда уже никто не диктовал мне, куда идти, и смысл «Кавалерийского марша» стал мне ясен, я иногда прогуливался вдоль русла Ландвер-канала и уже мог приблизиться к тому саду, но куда реже заставал его в цвету. И в имени, за которое мы оба когда-то цеплялись, смысла для него было не больше, чем мы, ученики, должны были с годами найти в той строчке из «Кавалерийского марша», как завещал нам на уроке пения господин Кнох. Пустая могила да сердце, которое можно взвесить – вот две

загадки, ребус, что я не расшифровал до сих пор, но упрямо жду, что жизнь подскажет мне ответ.

2. Тетерева

В старом детском стишке говорится о Тёте Реве. Но так как имя «Реве» для меня ровным счётом ничего не значило, это неведомое существо превратилось для меня в Тетерево. Непонимание ограничило мой мир, преградило мне дальнейший путь. Но был в этом и плюс: нерастраченное внимание устремилось к сердцу. Каждый его удар был наполнен смыслом. Будто бы нарочно, в моём присутствии вскоре упомянули слово «термометр». В моей голове он превратился в «тепло-мер». Если в процессе познания мира я и искажал слово, то лишь для того, чтобы как-то закрепитесь в этом мире. Я своевременно научился заворачиваться в слова, как в мягкие облака. Дар распознавания сходства между несхожим есть не что иное, как слабый отголосок времён нашей вынужденной мимикрии во внешнем виде или в поведении. Во мне этот отголосок оживляли слова. Не те, что были связаны с общественным примером для подражания, но с разными местами, мебелью, одеждой.

И никогда – с моим собственным обликом. Поэтому я так терялся, когда меня просили принять естественный вид. Однажды так случилось у фотографа. Куда бы я ни посмотрел, я видел себя окруженным холщовыми ширмами, подушками, постаментами, жадными до моего образа, как адские тени – до жертвенной крови. В конце концов выбор пал на грубо нарисованный вид на Альпы, и моя правая рука, которая должна была чуть приподнять шляпу, отбрасывала тень на облака и снег. Но вымученная улыбка на губах маленького горца не так грустна, как взгляд, падающий на меня с детского лица, лежащего в тени комнатной пальмы. Она родом из одной из тех мастерских, которые с их табуретками и треногами, гобеленами и мольбертами напоминают будуар и камеру пыток. Я стою с обнажённой головой; в моей левой руке огромное сомбреро, которое я придерживаю подчёркнуто изящным жестом. Правая вооружена тростью, чьё опущенное навершие выдвинуто на передний план, а конец закрыт ворохом страусиных перьев, свисающих с садового стола. В стороне, у портьеры, застыла мать. С пытливостью портнихи оглядывает она мой бархатный костюм, перегруженный отделкой и в целом точно вырезанный из журнала мод. Но я был искажён своим сходством со всем, что окружало меня. Я жил в девятнадцатом столетии, словно моллюск в раковине, а теперь эта раковина лежит передо мной пустая. Я подношу её к уху.

И что мне слышится? Не грохот канонады, не переливы бальных танцев Оффенбаха, не вой фабричных сирен, не полуденный гомон на бирже, даже не цокот лошадиных копыт по мостовой и не марш на параде караула. Нет, я слышу отрывистый стук, с каким уголь сыплется из жестяного ведерка в железную печь, глухой хлопок вспыхнувшего газового рожка и дребезг лампового колпачка в латунном обруче, когда по улице проезжает повозка. И ещё множество звуков – звяканье ключей, звон колокольчиков на передней лестнице и на чёрной; а в довершение всего – простой детский стишок. «Скажу тебе я про Тетерево...» Стишок искажён; но в нём поместился весь искажённый мир моего детства. Тётя Реве, сидевшая в стишке, покинула его к тому времени, когда я впервые услышал его. Найти Тетерево ещё трудней. Порой мне мерещился её облик на дне тарелки в разводах перловой

крупы или саго. Приходилось съесть всё, чтоб до неё докопаться. Может быть, ей было бы хорошо у реки Трене, что у озера Тресзе, и её спокойные серые воды укрывали её невесомой пелериной. Не помню, что люди рассказывали мне о ней – или что хотели рассказать. Она была бесшумной, бестелесной, пушистой, как снег, что взмывается в стеклянном шаре, если его потрясти. Помню, я сидел и рисовал тушью; цвета, которые я смешивал, разукрашивали и меня. Они покрывали меня ещё до того, как я наносил их на бумагу. Когда они перемешивались на палитре, я подцеплял их кистью так бережно, точно касался растаявших облаков.

Но вершиной моего творения, самым удачным и любимым, стал китайский фарфор. Разноцветная корка покрывала те вазы, сосуды, тарелки, жестяные банки, которые наверняка были лишь дешёвым товаром экспорта. Несмотря ни на что, меня они заморозили, как будто я уже нащупал нить, столько лет спустя вернувшую меня к истории про Тетеревию. Вот она, прямиком из Китая, повествует о старом художнике, который представил друзьям свою новую картину. На ней был изображён парк, узкая тропинка у воды и полог из деревьев, который обрывался перед маленькой дверью в задней части домика. Но когда друзья заозирались в поисках художника, то вдруг увидели, что он и сам попал в картину – прошёл по тропинке к двери, замер перед ней на миг, обернулся, одарил всех улыбкой и исчез в щели. Так вот и я со своими плосками и красками вдруг слился с картиной. Я был похож на фарфор, забрызганный разноцветным облаком.